

Ведьма из Сызрани



Милана Панова

Ведьма из Сызрани.

Совсем не трогать

<https://litres.ru/74598942>

SelfPub; 2026

Аннотация

На бабушкиной полке два года стояла банка с надписью «Совсем не трогать». Василиса её и не трогала. Банка треснула сама.

Василиса ждёт двойню, и её сила растёт вместе с животом. Любое случайное желание сбывается — буквально. Сказала «хочу помидор» — и в декабре вся улица в красных помидорах. Пожелала, чтобы муж пришёл с работы вовремя, — и участковый Егор возник посреди кухни вместе с пьяным гражданином, на которого составлял протокол.

А в ночь на самый короткий день из банки выходит Еремей Касьянович — сызранский чёрт в котелке и с моноклем. Обаятельный, вежливый, знает о Кругловых всё и пятьдесят лет просидел взаперти. У него есть договор, подписанный кровью в 1898 году. И по этому договору один из близнецов — его.

Роды — в Касьянов день, в метель, когда к дому не может проехать скорая. И снова весь город выходит на помощь.

Четвёртая книга о ведьме из Сызрани — смешная и трогательная история о том, что желания надо исполнять не буквально, а по совести.

Содержание

Глава 1. Помидоры в декабре	5
Глава 2. Буквально	14
Глава 3. УЗИ	20
Глава 4. Трещина	28
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Милана Панова

Ведьма из Сызрани.

Совсем не трогать

Глава 1. Помидоры в декабре

Утром четырнадцатого декабря Зинаида Павловна Уткина-Боброва вышла в огород за дровами, посмотрела на свою теплицу и села в сугроб.

Села не нарочно. Просто ноги подкосились.

Теплица стояла, как и положено теплице в Сызрани в середине декабря, — пустая, холодная, засыпанная снегом по самую крышу. Плётка провисла под тяжестью снега. Дверь примёрзла. Внутри, сквозь мутную плёнку, должны были виднеться сухие, почерневшие, скрюченные плети прошлогодних помидоров, которые Зинаида Павловна всё никак не могла собраться выдернуть.

Плети были.

Только они были зелёные. Свежие. Сочные. Высотой под самую крышу. И на них, сквозь заиндевевшую плёнку, отчётливо, ярко, вызываяще — висели помидоры.

Красные.

«Сызранский пузатик». Огромные, глянцевого, тяжёлые,

как кулак. Гроздьями. Десятками.

В минус двадцать два.

Зинаида Павловна сидела в сугробе и смотрела на теплицу. Потом достала из кармана телогрейки очки. Надела. Посмотрела ещё раз.

Помидоры никуда не делись.

— Гена, — сказала она негромко. Потом громче: — Гена! Гена, иди сюда! Только валидол возьми!

Геннадий Петрович выбежал на крыльцо в майке и в валенках, с полотенцем на плече — он брился. Посмотрел на жену в сугробе. Посмотрел на теплицу.

Полотенце упало в снег.

Через полчаса вся Верхне-Кирпичная стояла у теплиц. Потому что теплица Зинаиды Павловны была не одна такая. У тёти Шуры с козами — помидоры. У дяди Славы, который вообще в этом году ничего не сажал, потому что «спина», — помидоры, прямо на голой грядке под снегом, на кустах, выросших за ночь из ниоткуда. У Люды за «Продуктами 24», где летом стояли три ящика с рассадой, — помидоры. Прямо в ящиках. Прямо в снегу. Красные.

Никита бегал между теплицами и снимал на телефон. Мама Никиты бегала за ним и кричала «шапку надень».

А в доме номер тринадцать, на кухне, у окна, стояла Василиса. В бабушкином пуховом платке поверх ночной рубашки. С кружкой чая. С животом, который за последний месяц вдруг стал таким большим, что она перестала видеть свои

ноги.

Она смотрела на улицу. На соседей у теплиц. На красные пятна помидоров на белом снегу.

И ей было очень, очень нехорошо.

— Это ты, — сказал Модест с подоконника. Не вопросительно.

— Я не хотела, — прошептала Василиса.

— Знаю, что не хотела. — Кот смотрел на теплицы. — Вчера вечером. За ужином. Ты сказала: «Господи, как я хочу помидор. Свежий. Сызранский. Прямо с куста». Я слышал. Фрол слышал. Егор слышал, но не понял.

— Это просто... это просто так говорят! Беременные всегда чего-нибудь хотят!

— Беременные — да, — согласился Модест. — Беременные ведьмы — тоже. Но беременные ведьмы обычно хотят чего-нибудь, и ничего не случается. А у тебя — случается. — Он помолчал. — Третий раз за неделю, Васёна.

Василиса опустила голову.

Он был прав. Это был третий раз.

Первый раз был в прошлый понедельник. Она сидела на кухне, читала книжку про беременность — «Девять месяцев счастья», подарок тётки Егора, Валентины Степановны, — и за стеной, у соседей Мироновых, третий месяц подряд шёл ремонт. Сверлили. Каждый день. С восьми утра до восьми вечера. И Василиса, отложив книжку, сказала в пустоту: «Да закончился бы уже этот ремонт».

Ремонт закончился. Той же ночью. Сам.

Утром Мироновы проснулись в доме, где всё было готово. Стены поклеены. Полы постелены. Потолки побелены. Двери навешены. Всё — идеально, ровно, без единой щели.

Только обои были — в мелкий коричневый цветочек, как в семьдесят шестом году. На стене в гостиной висел ковёр. Красный, с узором. Чешский. На кухне — клеёнка в подсолнухах. В ванной — плитка цвета «морская волна» и пластмассовая полочка с зубным порошком «Жемчуг». А в серванте — хрусталь и сервиз «Мадонна».

Мироновы приходили к Василисе всей семьёй. Говорили, что им, конечно, всё нравится, что сервиз даже красивый, а ковёр мама давно хотела. Но они всё-таки заказывали ламинат и белые стены. Нельзя ли как-нибудь... вернуть.

Василиса не знала, как вернуть. Мироновы ушли грустные. Но с банкой огурцов — на всякий случай.

Второй раз был в среду.

Егор задерживался на работе. Уже неделю. Каждый вечер — в девять, в десять, однажды в полночь. В Сызрани в декабре — сезон краж из гаражей, драк в подъездах и пьяных Дедов Морозов. Василиса сидела дома одна, большая, неповоротливая, и смотрела на часы. И в шесть вечера, когда часы пробили, она сказала: «Ну хоть бы один раз он пришёл с работы вовремя».

В шесть ноль-ноль Егор пришёл с работы.

Вернее — появился. Посреди кухни. Прямо из воздуха. В

форме, с папкой, с ручкой в руке, с открытым ртом — он, как выяснилось, в этот момент составлял протокол на пьяного гражданина в подъезде на Ульяновской. Гражданин появился вместе с ним. На кухне дома тринадцать. Пьяный. В шапке-ушанке. С недопитой бутылкой «Сызранской особой» в руке.

Гражданин посмотрел на Василису. На печку. На кота на подоконнике. На Фрола Евсеича, который от неожиданности высунулся из-за печки.

— Я больше не буду, — сказал гражданин. — Никогда. Честное слово.

И бросил пить. Совсем. Говорят, до сих пор не пьёт.

Егору пришлось везти его обратно на Ульяновскую, на «УАЗике». Всю дорогу гражданин крестился. Егор вернулся домой в десять.

А вот третий раз — помидоры.

— Модест, — сказала Василиса. — Почему? Что со мной?

Кот спрыгнул с подоконника и сел перед ней на лавку.

— Ты носишь ведьму, — сказал он. — Может быть. Скорее всего. Я в нитках вижу — там, внутри, свет. Яркий. Ярче, чем у тебя. — Он помолчал. — Когда ведьма носит ведьму — сила растёт. Удваивается. У Агафьи так было, когда она твоего отца носила. Она говорила, ей тогда сны сбывались. Прямо как снились — так и сбывались. Один раз ей приснилось, что на Сызранке лёд в июле встал. Встал. На полдня. Рыбаки с ума сходили.

— Но у бабушки сны. А у меня — желания. Любые. Даже те, что так, в сердцах.

— Вот это, — сказал Модест медленно, — меня и беспокоит.

Он посмотрел на полку. На ту самую — с бабушкиными банками. «Зверобой». «Полынь горькая». «Мята». «Не трогать». «Для Пыжикова» (пустая — Пыжикову порча больше не требовалась). И в самом конце, у стены, в углу, куда почти не падал свет, — небольшая банка тёмного стекла, поллитровая, старая, с жестяной крышкой, туго закрученной и обмотанной сверху бечёвкой. Бечёвка была запечатана сургучом. На банке — бумажная наклейка, пожелтевшая, с бабушкиным почерком, крупным, с нажимом:

«СОВСЕМ НЕ ТРОГАТЬ».

Василиса два года смотрела на эту банку каждый день. И ни разу не тронула. Потому что так велела бабушка. «P.S. Банку „Совсем не трогать" не трогай совсем». Она и не трогала. Даже пыль вокруг вытирала, не задевая.

— Модест, — сказала она. — Что в ней?

— Не знаю, — сказал кот.

— Как не знаешь? Ты двести восемнадцать лет при Кругловых.

— Агафья её запечатала, когда меня не было, — сказал Модест. — В семьдесят шестом году. Когда ревизор приезжал. Помнишь, я рассказывал? Она меня тогда на месяц в Октябрьск отослала. Когда вернулся — банка уже стояла.

Вот здесь. В углу. С наклейкой. Я спросил. Она сказала: «Не твоё дело, Модест. И не трогай». Я и не трогал. Сорок лет. — Кот помолчал. — Но вчера вечером, когда ты про помидоры сказала... я на неё посмотрел. И мне показалось...

— Что?

— Что она тёплая, — сказал Модест. — От неё тепло шло. Как от печи. А раньше всегда холодная была. Как погреб.

Василиса медленно подошла к полке. Протянула руку. Не дотронулась — остановила ладонь в сантиметре от тёмного стекла.

Модест был прав.

От банки шло тепло. Слабое, едва заметное. И ещё — запах. Очень тонкий. Едва уловимый. Табак. Старый, сладковатый, с вишнёвой ноткой. Как пахло в детстве от трубки деда Андрея.

И что-то ещё. Под табаком. Острое, кислое, как от спички, которую только что зажгли.

Сера.

Василиса отдернула руку.

— Фрол Евсеич, — позвала она.

За печкой было тихо. Слишком тихо. Обычно в это время Фрол Евсеич смотрел «Модный приговор» и громко комментировал наряды.

— Фрол Евсеич. Вы знаете, что в банке.

Тишина.

— Фрол Евсеич. Вы в семьдесят шестом здесь были. Вы

всё видели.

Из-за печки донёсся тяжёлый, скрипучий, стариковский вздох.

— Видел, — сказал домовый глухо. — Слово дал. Агафье. Не говорить. Пока банка цела.

— А если она треснет?

Фрол Евсеич долго молчал. Потом высунулся из-за печки — маленький, взъерошенный, в тельняшке и валенках. Посмотрел на банку. На Василису. На её живот.

Лицо у него было серое.

— Тогда, девка, — сказал он, — я тебе всё расскажу. Только тогда уже поздно будет.

И скрылся обратно.

Василиса стояла посреди кухни, обхватив живот руками. Там, внутри, кто-то толкнулся — сильно, уверенно, ножкой. Прямо под рёбра. Потом ещё раз. С другой стороны.

С другой стороны?

Она замерла.

— Модест, — сказала она очень тихо. — Он толкается справа и слева. Одновременно.

Кот медленно повернул голову. Посмотрел на её живот. Долго. Прищурившись. Как смотрят нитки.

— Ну, — сказал он наконец. — Ну, Фрол. Ну, старый чёрт.

— Что?

— Ничего, — сказал Модест. — УЗИ когда?

— В пятницу. Двадцатого.

— Сходи, — сказал кот. — И не загадывай пока ничего. Ни-че-го. Даже про погоду. Даже про сметану. Поняла?

За окном Зинаида Павловна, которую Геннадий Петрович наконец извлёк из сугроба, стояла у теплицы и срывала помидоры. Один за другим. В эмалированный таз. И плакала. От счастья, наверное.

Над Сызранью шёл снег.

Глава 2. Буквально

Василиса перестала загадывать.

Это оказалось гораздо труднее, чем она думала. Человек, как выяснилось, загадывает постоянно. Каждую минуту. Не замечая. «Хоть бы не опоздать». «Скорей бы весна». «Вот бы поспать подольше». «Чтоб тебя». «Ну давай уже». «Господи, хоть бы автобус пришёл». Она раньше никогда не замечала, сколько желаний в день произносит вслух. А теперь — замечала. Каждое. И каждое глотала, не договорив.

Это было как ходить по минному полю. В тапочках. На восьмом месяце.

Она пробовала молчать. Совсем. Получалось часа два. Потом она забывалась — и говорила что-нибудь.

В четверг, наливая чай, она сказала: «Ой, солёненького бы». Просто так. Беременным ведь всегда хочется солёненького.

Через час к ней пришли трое соседей. С вёдрами. Колонка на углу Верхне-Кирпичной — та самая, у которой Геннадий Петрович когда-то увидел Модеста в окне, — качала рассол. Не воду. Рассол. Огуречный. С укропом, с чесноком, со смородиновым листом. Идеальный. Такой, что тётя Шура с козами набрала себе три ведра и засолила в нём два бочонка огурцов.

Водоканал приезжал. Брал пробы. Уехал в недоумении.

Через сутки колонка снова стала качать воду. Но тётя Шура говорила, что огурцы получились лучшие в её жизни.

В пятницу, ругаясь на Модеста и Фрола Евсеича, которые с утра опять спорили на сметану — на этот раз о том, сколько будет весить ребёнок при рождении, — Василиса не выдержала и крикнула:

— Да провалитесь вы оба!

И они провалились.

Буквально. Пол в кухне — старый, дубовый, крепкий, двести лет простоявший, — вдруг мягко, бесшумно разошёлся под печкой. Как вода. И Модест вместе с Фролом Евсеичем ухнули вниз. В подпол.

Василиса закричала. Бросилась к дыре. Встала на колени — насколько позволял живот.

Из темноты подпола донёсся голос Модеста. Злой, но живой:

— Двести восемнадцать лет, — сказал кот. — Двести восемнадцать лет меня никто не проваливал.

— Цел? — крикнула Василиса.

— Цел. На мешок с картошкой упал. Фрол — на меня. Фрол, слезь.

— Не могу, — прокряхтел домовой. — У меня валенок в капусте застрял.

Пол над ними так же бесшумно сомкнулся обратно. Целый. Ровный. Ни щели, ни скола. Василиса сидела на полу и смотрела на него. Потом засмеялась — нервно, со всхлипа-

ми. Потом заплакала.

Модест и Фрол Евсеич выбрались через люк в сених через десять минут. Пыльные, в паутине, Фрол Евсеич — в одном валенке. Второй так и остался в капусте.

— Прости, — сказала Василиса, вытирая слёзы. — Простите оба. Я не хотела. Это само.

— Знаем, что само, — сказал Модест, отряхиваясь. И вдруг остановился. Принюхался. Посмотрел на Фрола Евсеича. — Фрол. Ты там, внизу, почуял?

Домовой молчал. Лицо у него было серое — опять.

— Почуял, — сказал он наконец. — Табак. И серу. Внизу, под самой печкой. Там, где узел. — Он посмотрел на полку. На банку в углу. — Оно уже не только в банке. Оно вниз просачивается. К узлу. К тебе, девка. — Он посмотрел на Василисин живот. — К ним.

— К ним? — переспросила Василиса.

Фрол Евсеич прикусил губу. Модест метнул на него быстрый взгляд.

— К нему, — поправился домовой. — Оговорился. Старый. К нему.

Василиса посмотрела на одного. Потом на другого.

— Вы что-то знаете, — сказала она.

— Мы ничего не знаем, — сказали Модест и Фрол Евсеич хором.

Это было подозрительно. Модест и Фрол Евсеич никогда ни в чём не соглашались. Даже в том, какой сегодня день

недели.

Егору она рассказала всё. Про ремонт Мироновых, про помидоры, про пьяного гражданина (это он и так знал), про рассол, про подпол. И про банку.

Егор слушал, сидя на лавке, держа в руках свою кружку «Лучший участковый Сызранского района». Он за полгода брака научился слушать про магию не моргая. Он видел водяного, свадебный вихрь, ведьму на ступе над ЗАГСом. Он прыгал в Волгу. Он считал, что его уже ничем не удивить.

— Подожди, — сказал он, когда она закончила. — Ты хочешь сказать, что в той банке — что-то живое? И это что-то исполняет твои желания?

— Не знаю. Я так думаю. Модест так думает. Фрол Евсеич молчит, но, кажется, тоже так думает.

— Как джинн, — сказал Егор.

— Как джинн, — согласилась Василиса. — Только по-русски. Криво.

— Буквально, — сказал Егор. — Ты сказала «ремонт закончился» — он закончился. Но как в семьдесят шестом. Ты сказала «пришёл вовремя» — я пришёл. Но с протоколом и пьяным. Ты сказала «провалитесь» — провалились. Буквально. — Он помолчал. — Это как с заявлениями граждан. Пишут: «Прошу принять меры к соседу». Какие меры — не пишут. Принимаешь меры — недовольны. Не те меры.

— Вот, — сказала Василиса. — Точно.

Егор поставил кружку. Посмотрел на полку. На банку в

углу. Встал. Подошёл.

— Егор, не трогай!

— Я не трогаю. — Он наклонился. Близко. Почти вплотную. Посмотрел через тёмное стекло. Втянул носом воздух. — Табаком пахнет. «Герцеговина Флор».

— Что?

— Папиросы такие. Советские. Дед курил. Печник. — Егор выпрямился. — Я этот запах с детства помню. Ни с чем не спутаешь. Сладкий такой. С вишней.

Он постоял. Посмотрел на банку ещё раз. Лицо у него стало задумчивое, участковое.

— Вась, — сказал он. — А ты в Гроссбухе смотрела? Про эту банку. Может, Агафья Семёновна что-то записала.

Василиса смотрела.

Она за неделю перелистала весь Гроссбух. Все три с лишним тысячи бабушкиных страниц. Все её собственные. Дарьины тетради. Анфисину конторскую книгу. Марфины листы.

Про банку — ничего.

Только на последней странице, в самом конце, после рецептов пирогов, после зачёркнутого самогона, после страницы «Кому сколько должна», — был вклеен маленький листок. Вырванный из блокнота. На нём бабушкиным почерком, но не таким, как обычно, — торопливым, неровным, будто писала дрожащей рукой, — стояло:

«Е. — в банке. Сургуч мой, бечёвка Нюрина, наговор на

семь замков. Держать сколько смогу. Если треснет — Васёне сказать про Анфисин договор. Про двойню.

Господи, хоть бы не двойня».

Василиса показала листок Егору.

Он прочитал. Перечитал. Посмотрел на неё.

— Двойня, — сказал он.

— Двойня, — сказала Василиса.

— Анфисин договор.

— Я не знаю, что это. Ни слова больше. Нигде.

Егор медленно опустил листок на стол.

— Вась, — сказал он очень осторожно. — А УЗИ у тебя когда?

— Завтра.

Егор посмотрел на её живот. Долго. Как Модест смотрит нитки.

— Я с тобой пойду, — сказал он.

Глава 3. УЗИ

Женская консультация номер два располагалась на улице Ульяновской, в двухэтажном кирпичном здании с облупившейся вывеской и вечной очередью в коридоре. В коридоре пахло хлоркой, бахилами и мандаринами. На стенах висели плакаты: «Мама, кормите грудью!», «Курение вредит вашему малышу!» и «Прививка от гриппа — бесплатно!». Под плакатами на лавках сидели беременные. Разные. Со всем молоденькие, с телефонами. Постарше, с вязанием. Одна — лет сорока пяти, очень спокойная, с книжкой, — ждала, как потом выяснилось, четвёртого.

Василиса сидела с Егором на лавке у кабинета номер двенадцать. «Ультразвуковая диагностика». Егор держал её за руку. Рука у него была мокрая. Он нервничал больше, чем она.

Модеста с собой не взяли. Модест, конечно, хотел. Модест сказал, что он «член семьи» и «имеет право». Василиса сказала, что кота в женскую консультацию не пустят. Модест сказал, что он не кот, а фамилльяр. Василиса сказала, что охранница на входе вряд ли видит разницу. Модест обиделся и ушёл на печку.

— Шмелёва-Круглова! — крикнули из кабинета.

Врач-узистка была женщина лет шестидесяти, полная, в белом халате, в очках на цепочке. Звали её Нина Борисовна,

и она, как выяснилось, сорок лет делала УЗИ всей беременной Сызрани.

— Ложитесь, мамочка, — сказала она. — Папочка — вон на стульчик. Сейчас посмотрим, кто у нас там.

Василиса легла. Холодный гель. Датчик. На мониторе — серая муть, пятна, тени, белые сполохи.

Нина Борисовна водила датчиком, смотрела в экран, хмыкала.

— Так, — сказала она. — Сердечко. Хорошо бьётся. Сто сорок. Отлично. Головка. Позвоночник. Ручки. Ножки. Всё на месте. — Она сдвинула датчик. — Так. А это у нас...

Пауза.

Нина Борисовна сняла очки. Протёрла. Надела обратно. Наклонилась к монитору.

— Так, — сказала она другим голосом. — А это у нас — что?

— Что? — Василиса приподнялась на локтях.

— Лежите, лежите. — Нина Борисовна сдвинула датчик левее. Потом правее. Потом снова левее. — Это у нас, мамочка... — Она повернула монитор к ним. — Видите? Вот тут — головка. А вот тут — ещё одна головка.

Егор упал со стульчика.

Не совсем упал — съехал. Плавно. Как будто ноги у него вдруг стали ватными. Он сидел на полу кабинета номер двенадцать, в форме, с открытым ртом, и смотрел на монитор.

— Двойня, — сказала Нина Борисовна. — Поздравляю.

Как же вас раньше не видели? Я ж вас в сентябре смотрела. Один был. Точно один.

— Прятался, — сказала Василиса. Слабым голосом. — Наверное.

— Бывает, — кивнула Нина Борисовна. — Редко, но бывает. Один за другим стоит, второго не видно. — Она снова повернула монитор к себе. Повела датчиком. — Так. Хотите знать?

— Хотим, — сказал Егор с пола.

— Первый — девочка, — сказала Нина Борисовна. — Точно девочка. Вот, смотрите. — Она показала. Василиса ничего не поняла, но кивнула. — А второй... второй... — Датчик медленно скользил. — Второй — мальчик. Ага. Вот, видите? Мальчик.

— Девочка и мальчик, — повторил Егор с пола. Он, кажется, улыбался. Глупо, широко, во всё лицо.

А Нина Борисовна вдруг замолчала.

Она смотрела в монитор. Нахмурилась. Сдвинула датчик. Ещё раз. Наклонилась ближе.

— А это... это что такое? — пробормотала она.

— Что? — Василиса снова приподнялась.

— Лежите. — Нина Борисовна водила датчиком. — Артефакт какой-то. Помеха. Вот тут, между ними. Видите?

Василиса посмотрела на монитор.

Между двумя маленькими серыми фигурками — головка к головке, ножка к ножке, — на экране было что-то ещё.

Тёмное. Небольшое. Нечёткое. Тень. Как будто кто-то третий заглядывал в кадр. Сбоку. Из угла.

У тени были... рожки.

Маленькие. Аккуратные. Как два запятых.

И она, эта тень, — Василиса могла поклясться — повернулась. Прямо к монитору. И как будто подмигнула.

Экран погас.

— Ой, — сказала Нина Борисовна. — Ой. Что такое? — Она постучала по аппарату. — Опять? Третий раз за месяц. Китайский. Ничего не держит.

Экран снова загорелся. Две маленькие серые фигурки. Головка к головке. Больше ничего. Никакой тени.

— Ну вот, — облегчённо сказала Нина Борисовна. — По-меха была. Бывает. Всё в порядке, мамочка. Двойня. Девочка и мальчик. Здоровенькие. Срок — двадцать четыре недели. Родите в апреле. Ну, может, чуть раньше, двойня обычно раньше идёт. В марте. — Она протянула Василисе салфетку. — Поздравляю. Распечатку дать?

— Дать, — сказала Василиса.

На распечатке — Василиса потом рассматривала её дома, на кухне, под лампой, через бабушкину лупу, — было две маленькие серые фигурки. Головка к головке. И сбоку, в самом углу снимка, почти незаметно, едва различимо, — если очень присмотреться, — тёмное пятнышко. Размытое. С двумя маленькими, аккуратными, как запятые, рожками.

Дома их встречали.

Модест сидел на крыльце. На морозе. Ждал. Шерсть у него была в инее — сидел, видимо, долго. Фрол Евсеич стоял в дверях, на самом пороге, держась за косяк.

— Ну? — спросил Модест.

Василиса молча протянула ему распечатку.

Модест посмотрел. Долго. Потом поднял на неё жёлтые глаза.

— Двое, — сказал он.

— Двое. Девочка и мальчик.

Кот закрыл глаза.

— Фрол, — сказал он, не открывая глаз. — Ты двести пятьдесят сметан ставил на двойню.

— Ставил, — сказал домовой. Голос у него был какой-то неправильный. Не торжествующий. — Ставил.

— Выиграл.

— Выиграл, — сказал Фрол Евсеич. — Не надо мне сметаны, Модест. Ничего не надо.

И ушёл за печку.

Модест посмотрел на распечатку ещё раз. На тёмное пятнышко в углу. С двумя запятыми.

— Видишь? — спросила Василиса. — Вот тут. Сбоку.

— Вижу, — сказал кот.

— Что это?

Модест не ответил. Положил распечатку на ступеньку. Встал. Посмотрел на окно кухни. Туда, где на полке, в углу, стояла банка тёмного стекла.

— Пойдём в дом, — сказал он. — Холодно. Тебе нельзя мёрзнуть. Им нельзя.

Вечером позвонила Пелагея Саввишна.

Из Сенгилея. Она теперь звонила раз в неделю, по пятницам, в семь вечера. Рассказывала про маяк, про музей ба-кенщиков, про Глеба. Глеб Борисович и Пелагея Саввишна обвенчались на Покров, четырнадцатого октября, в маленькой деревянной церкви на берегу Волги. Гостей было трое — Василиса с Егором и Модест. Модест выиграл у Фрола Евсеича три сметаны. Ставил к Покрову. Попал день в день.

— Василиса Андреевна, — сказала Пелагея Саввишна в трубку. Голос у неё теперь был совсем другой, чем в ЗАГСе. Мягкий. С улыбкой. — Ну что? Были на УЗИ?

— Были, — сказала Василиса. — Двойня.

В трубке помолчали.

— Я же говорила, — сказала Пелагея Саввишна тихо. — Ещё в августе. Я видела. Я хотела сказать, но подумала — рано. Не моё дело. Свахам не положено раньше времени.

— Девочка и мальчик, Пелагея Саввишна.

— Знаю, деточка. — Пауза. — Василиса Андреевна. Можно я спрошу?

— Спросите.

— У вас в доме... — Пелагея Саввишна запнулась. — У вас в доме всё в порядке? Я сегодня утром смотрела на ваши нитки. Отсюда. Издалека. Я ведь свахой двести лет была, я могу на любом расстоянии, если человек мне не чужой. —

Она помолчала. — И я видела. У девочки нитка — золотая. Яркая. Как у вас. Ведьма будет, это точно. А у мальчика...

— Что у мальчика?

— У мальчика тоже яркая, — сказала Пелагея Саввишна. — Но к ней привязано. Узелок. Маленький. Чёрный. Старый. Очень старый. Я такой видела однажды. Давно. В тысяча восемьсот девяносто восьмом году. На свадьбе Анфисы Кругловой.

Василиса медленно опустилась на лавку.

— Пелагея Саввишна, — сказала она. — Что такое «Анфисин договор»?

В трубке долго молчали. Так долго, что Василиса подумала — связь прервалась.

— Я не знаю подробностей, — сказала наконец Пелагея Саввишна. — Это было не моё дело. Я только видела. На свадьбе Анфисы, когда её жених в Волгу упал. Помните? Пьяный, с пристани. — Пауза. — Прохор его вытащил. Это все знают. Но не все знают, что Прохор опоздал. На минуту. Жених уже не дышал, когда Прохор его на берег положил. — Пауза. — Анфиса тогда стояла на коленях на пристани. В свадебном платье. Над мёртвым мужем. И кричала. Кому-то. Не Богу. Кому-то другому. Я слышала, как она кричала: «Верни! Верни его! Что хочешь проси — верни!» — Пелагея Саввишна помолчала. — А потом жених закашлял. И сел. И с тех пор прожил ещё сорок лет.

— А Анфиса?

— А у Анфисы, — сказала Пелагея Саввишна, — с той ночи на нитке появился чёрный узелок. Маленький. Как у вашего мальчика. И от него шла ниточка. Тонкая. Чёрная. Куда-то... — Она запнулась. — В табакерку. У Анфисы на поясе табакерка висела. Серебряная. Она её с той ночи никогда не снимала.

Василиса сидела на лавке. Держала трубку обеими руками.

— Пелагея Саввишна, — сказала она. — А чем пахла та табакерка?

— Табаком, — сказала Пелагея Саввишна. — Сладким. С вишней. И...

— Серой, — сказала Василиса.

— Да, — тихо сказала Пелагея Саввишна. — Серой.

Василиса положила трубку.

Подняла голову. Посмотрела на полку.

Банка в углу, тёмного стекла, с сургучом на бечёвке, стояла как стояла. Но в кухне пахло табаком. Сладким. С вишней.

И по сургучу на крышке — тонкая, как волос, едва заметная — бежала трещина.

Глава 4. Трещина

Банка треснула в ночь на двадцать второе декабря. В самую длинную ночь в году. Ровно в полночь.

Василиса не спала. Она теперь почти не спала — двое внутри толкались по очереди, как будто играли в футбол, и стоило ей задремать, как кто-нибудь бил ножкой прямо в печень. Она лежала на бабушкиной кровати, на боку, обложенная подушками, и смотрела в потолок. Егор спал рядом, раскинув руки, и тихо храпел. Модест лежал у неё в ногах. Тоже не спал. Она знала — по тому, как у него подрагивали уши.

В полночь на кухне что-то щёлкнуло.

Тихо. Сухо. Как будто лопнула струна на гитаре. Или ледяная корка на луже.

Модест поднял голову.

Василиса села на кровати. Насколько позволял живот — медленно, тяжело, держась за спинку.

Щёлк. Ещё раз. Громче.

А потом — звон. Долгий, хрустальный, как будто кто-то провёл мокрым пальцем по краю бокала.

И запах.

Табак. Сладкий. С вишней. Такой густой, что, казалось, его можно потрогать. Он пополз из кухни под дверь бабушкиной комнаты, заполнил её, как туман. А под табаком — сера. Острая. Как от сотни спичек, зажжённых одновременно.

Егор проснулся. Сел. Втянул носом воздух.

— «Герцеговина Флор», — сказал он хрипло. — Вась. Это та банка?

Василиса не ответила. Она встала. Сунула ноги в бабушкины валенки. Накинула пуховый платок. Пошла на кухню.

Модест шёл рядом. Шерсть дыбом — вся, от ушей до кончика хвоста. Он стал вдвое больше обычного. Огромный, чёрный, страшный.

Фрол Евсеич стоял посреди кухни. Не за печкой — посреди. С кочергой в руках. В тельняшке и ватных штанах. Маленький, седой, взъерошенный. Лицо — белое.

На полке, в углу, стояла банка тёмного стекла.

Вернее — то, что от неё осталось.

Она лопнула. Не разбилась — раскрылась. Как бутон. Тёмное стекло разошлось лепестками, острыми, изогнутыми. Сургуч на крышке раскололся на две половинки. Бечёвка — та самая, Нюрина, — лопнула и висела обрывками. А из середины, из раскрывшегося бутона, медленно, лениво, клубами поднимался дым.

Сизый. Густой. Пахнущий табаком.

Он поднимался к потолку. Растекался. Закручивался. И постепенно — Василиса смотрела, не дыша, — принимал форму.

Сначала — котелок. Чёрный, круглый, фетровый. Потом под котелком — голова. Потом — плечи. Сюртук. Длинный, чёрный, старомодный, с бархатными отворотами. Жилет —

в тонкую полоску. Белая манишка. Галстук-бабочка. Цепочка от часов. Брюки со штрипками. Лакированные штиблеты — острые, узкие, блестящие.

И трость. Чёрная, с серебряным набалдашником в виде собачьей головы.

Дым рассеялся.

Посреди кухни, рядом с полкой, стоял человек.

Невысокий — Василисе по плечо, не больше. Стройный, ладный, изящный. Лет сорока на вид. Смуглое, острое, весёлое лицо. Чёрные, блестящие, вьющиеся волосы, выбивающиеся из-под котелка. Чёрные усики, тонкие, подкрученные. Чёрная бородка клинышком. Глаза — тёмные, почти чёрные, с красноватым отсветом, как угли в печке. Очень живые. Очень весёлые. Очень внимательные.

В глазу — монокль. На цепочке.

Он стоял, опираясь на трость, и разглядывал кухню. Медленно. С интересом. Как турист — музей.

— Ох, — сказал он. Голос у него был приятный, бархатный, с лёгкой хрипотцой, как у старого актёра. — Ох, хорошо. Пятьдесят один год. Пятьдесят один год в банке, господа. Без воздуха. Без света. Без табака. — Он вдохнул полной грудью. — Ох. Печкой пахнет. Пирогам. Капустой. Хорошо.

Он повернулся. Увидел Фрола Евсеича с кочергой.

— Фролушка! — Лицо у него расплылось в улыбке. — Голубчик! Живой! Не постарел ни на день! Всё в тельняшке!

— Он сделал шаг вперёд, раскинув руки, как для объятия.
Фрол Евсеич поднял кочергу.

— Не подходи, — сказал он глухо.

— Ах, Фролушка, — человек в котелке остановился.
Вздыхнул. — Обижаешь. Пятьдесят лет не виделись. Ну, ладно. Ладно. — Он повернулся. Увидел Модеста.

Модест стоял у порога. Огромный, вздыбленный, страшный. С оскаленными клыками.

— Модест, — сказал человек в котелке. И улыбнулся ещё шире. — Ах, Модест. Ты растолстел.

— Я прекрасно сохранился, — прошипел кот.

— Растолстел, растолстел. — Человек покачал головой.
— Агафья тебя сметаной перекармливала. Я ей говорил. — Он помолчал. — Ты, говорят, Пелагее Венцовой в ноги кланялся? На ковре лежал? Сто пятьдесят шесть лет набирался храбрости?

Модест замер. Шерсть у него встала ещё выше.

— Откуда ты...

— Я всё знаю, Модест, — ласково сказал человек. — Я в банке сидел, а не в гробу. Банка — стеклянная. Я всё видел. Всё слышал. Пятьдесят один год. — Он постучал тростью по полу. — Как Агафья старела. Как она одна тут сидела, по вечерам, с Гроссбухом. Как она с тобой разговаривала, когда думала, что никто не слышит. Как она умерла. Я видел, как она умерла, Модест. Через стекло. Ты у неё в ногах лежал.

Модест молчал. Шерсть медленно опускалась.

Человек в котелке повернулся. И увидел Василису.

Она стояла в дверях кухни. В ночной рубашке. В бабушкином платке. В валенках. Огромная, восьмимесячная — нет, шестимесячная, но с двойней, а значит, как на восьмом. Держалась за косяк. За её спиной стоял Егор — в майке и трусах, с бабушкиной скалкой в руке.

Человек в котелке посмотрел на Василису. На её лицо. На её живот. Долго. Медленно. Сверху вниз и снизу вверх.

А потом снял котелок. Прижал его к груди. И поклонился. Низко. Изящно. По-старинному. С шарканьем ножкой.

Из-под чёрных кудрей, на макушке, торчали два маленьких рожка. Аккуратных. Блестящих. Изогнутых, как запятые.

— Василиса Андреевна, — сказал он. — Голубушка. Наконец-то. Разрешите представиться. Еремей. Еремей Касьянович. Сызранский чёрт. — Он выпрямился. Надел котелок. Улыбнулся. — Ваш покорный слуга. В самом буквальном смысле.

Василиса смотрела на него.

Ей было страшно. Очень. Но страх был какой-то странный. Не такой, как перед Анжеликой на сцене или перед Шаповаловым на льду. Те были холодные. Пустые. А этот... этот был тёплый. Пах табаком и печкой. И смотрел на неё — она это видела, она умела видеть, — не голодно. Не жадно.

С интересом. С любопытством. И — где-то очень глубоко, под улыбкой, под моноклем, — с чем-то ещё. Чем-то, что

она пока не могла понять.

— Что вам нужно? — спросила она.

— Ах, голубушка, — сказал Еремей Касьянович. — Сразу к делу. Как Агафья. Как Анфиса. Все вы, Кругловы, такие. Ни тебе «здравствуйте», ни «чаю не хотите ли». — Он вздохнул. — Мне нужно немного. Совсем немного. Только своё.

— Своё?

— По договору. — Еремей сунул руку во внутренний карман сюртука. Достал что-то. Сложенное. Бумажное. Старое. Развернул.

Это была купюра. Большая, старинная, сторублёвая, с портретом Екатерины Второй. «Катеринка». Пожелтевшая, мятая, с обтрёпанными краями. А поверх портрета императрицы, по всему полю купюры, бурыми, выцветшими чернилами — или не чернилами, — был написан текст. Мелким, торопливым, неровным женским почерком.

Еремей Касьянович протянул купюру Василисе. Не отдал — показал. Держа за край двумя пальцами.

Василиса прочитала.

«Я, Анфиса Евграфовна Круглова, сызранская мещанка, по своей воле, в здравом уме, на пристани у Сызранки, в ночь на 8 июля 1898 года. Взамен жизни мужа моего, Ивана Сергеевича, возвращённой мне Еремеем, сызранским чёртом, обязуюсь: из первой двойни, что в роду Кругловых родится, одного отдать Еремею. В ученики. Навечно. А до того дня Еремей роду Кругловых служит и желания их исполня-

ет. Подпись: А. Круглова».

И внизу — отпечаток. Пальца. Бурый. Тот же цвет, что и текст.

Василиса читала, и у неё холодели руки. Ноги. Живот. Двое внутри затихли — оба, разом, как будто тоже читали.

— «Из первой двойни, что в роду Кругловых родится», — повторила она шёпотом.

— Сто двадцать девять лет ждал, — сказал Еремей Касьянович. — Ни одной двойни. Ни у Анфисы. Ни у Дарьи. Ни у Агафьи. Я уж думал — не дождусь. Кругловы — они ведь всё по одному рожали. Упрямые. — Он аккуратно сложил купюру и убрал обратно в карман. — А тут — вы. Двое. Девочка и мальчик. — Он посмотрел на её живот, и улыбка у него стала совсем мягкой. — Я в банке, голубушка, когда почуял — чуть стекло не разбил. От радости.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.